

<ВАДИМ>

Часть I-я

ГЛАВА I

День угасал; лиловые облака, протягиваясь по западу, едва пропускали красные лучи, которые отражались на черепицах башен и ярких главах монастыря. Звонили к вечерни; монахи и служки ходили взад и вперед по каменным плитам, ведущим от кельи архимандрита в храм; длинные, черные мантии с шорохом обметали пыль вслед за ними; и они толкали богомольцев с таким важным видом, как будто бы это была их главная должность. Под дымной пеленою ладана трепещущий огонь свечей казался тусклым и красным; богомольцы теснились вокруг сырых столбов, и глухой, торжественный шорох толпы, повторяемый сводами, показывал, что служба еще не началась.

У ворот монастырских была другая картина. Нескольким нищим и увечным ожидали милости богомольцев; они спорили, бранились, делили медные деньги, которые звенели в больших посконных мешках; это были люди, отвергнутые природой и обществом (только в этом случае общество согласно бывает с природой); это были люди, погибшие от недо-

статка или излишества надежд, олицетворенные упреки провидению; создания, лишённые права требовать сожаления, потому что они не имели ни одной добродетели, и не имеющие ни одной добродетели, потому что никогда не встречали сожаления.

Их одежды были изображения их душ: черные, изорванные. Лучи заката останавливались на головах, плечах и согнутых костистых коленях; углубления в лицах казались чернее обыкновенного; у каждого на челе было написано вечными буквами *нищета!* — хотя бы малейший знак, малейший остаток гордости отделился в глазах или в улыбке!

В толпе нищих был один — он не вмешивался в разговор их и неподвижно смотрел на расписанные святые врата; он был горбат и кривоног; но члены его казались крепкими и привыкшими к трудам этого позорного состояния; лицо его было длинно, смугло; прямой нос, курчавые волосы; широкий лоб его был желт как лоб ученого, мрачен как облако, покрывающее солнце в день бури; синяя жила пересекала его неправильные морщины; губы, тонкие, бледные, были растягиваемы и сжимаемы каким-то судорожным движением, и в глазах блистала целая будущность; его товарищи не знали, кто он таков; но сила души обнаруживается везде: они боялись его голоса и взгляда; они уважали в нем какой-то величайший порок, а не безграничное несчастье, демона — но не человека: — он был безобразен, отвратителен, но не это пугало их; в его глазах было столько огня и ума, столько неземного, что они, не смея верить их выражению, уважали в незнакомце чудесного обманщика. Ему казалось не больше 28 лет; на лице его постоянно отражалась насмешка, горькая,

бесконечная; волшебный круг, заключавший вселенную; его душа еще не жила по-настоящему, но собирала все свои силы, чтобы переполнить жизнь и прежде времени вырваться в вечность; — нищий стоял сложа руки и рассматривал дьявола, изображенного поблекшими красками на св. вратах, и внутренне сожалел об нем; он думал: если б я был чорт, то не мучил бы людей, а презирал бы их; стоят ли они, чтоб их соблазнял изгнанник рая, соперник бога!.. другое дело человек; чтоб кончить презрением, он должен начать с ненависти!

И глаза его блистали под беспокойными бровями, и худые щеки покрывались красными пятнами: всё было согласно в чертах нищего: одна страсть владела его сердцем или лучше он владел одною только страстью, — но зато совершенно!

«Христа ради, барин, — погорелым, калекам, слепому... Христа ради копеечку!» — раздался крик его товарищей; он вздрогнул, обернулся — и в этот миг решила его участь. — Что же увидал он? русского дворянина, Бориса Петровича Палицына. Не больше.

[ГЛАВА II]

Представьте себе мужчину лет 50, высокого, еще здорового, но с седыми волосами и потухшим взором, одетого в синее полукафтанье с анненским крестом в петлице; ноги его, запрятаные в огромные сапоги, производили неприятный звук, ступая на пыльные камни; он шел с важностью размахивая руками и наморщивал высокий лоб всякий раз, как докучливые нищие обступали его; — двое слуг сле-

довали за ним с подобострастием. — Палицын положил серебряный рубль в кружку монастырскую и, оттолкнув нищих, воскликнул: «Прочь, вы! — лентяи. — Экие молодцы — а просят Христа ради; что вы не работаете? дай бог, чтоб пришло время, когда этих бродяг без стыда будут морить с голоду. — Вот вам рубль на всю братию. — Только чур не перекусайтесь за него».

Между тем горбатый нищий молча приблизился и устремил яркие черные глаза на великодушного господина; этот взор был остановившаяся молния, и человек, подверженный его таинственному влиянию, должен был содрогнуться и не мог отвечать ему тем же, как будто свинцовая печать тяготела на его веках; если магнетизм существует, то взгляд нищего был сильнейший магнетизм.

Когда старый господин удалился от толпы, он поспешил догнать его.

Палицын обернулся.

— Что тебе надобно?

— Очень мало! — я хочу работы...

С язвительной усмешкой посмотрел старик на нищего, на его горб и безобразные ноги... но бедняк нимало не смутился и остался хладнокровен, как Сократ, когда жена вылила кувшин воды на его голову, но это не было хладнокровие мудреца — нищий был скорее похож на дуэлиста, который уверен в меткости руки своей.

— Если ты, барин, думаешь, что я не могу переменить труда, то я тебя успокою на этот счет. — Он поднял большой камень и начал им играть как мячиком; Палицын изумился.

— Хочешь ли быть моим слугою?

Нищий в одну минуту принял вид смирения и с жаром поцеловал руку своего нового покровителя... из вольного он согласился быть рабом — уже ли даром? — и какая странная мысль принять имя раба за 2 месяца до Пугачева.

— Клянусь головою отца моего, что исполню свою обязанность! — воскликнул нищий, — и адская радость вспыхнула на бледном лице.

— Твое имя?

— Вадим!

— Прелестное имя для такого уroda!

Слуги подхватили шутку барина и захохотали; нищий взглянул на них с презрением, и неуместная веселость утихла; подлые души завидуют всему, даже обидам, которые показывают некоторое внимание со стороны их начальника.

— Следуй за мной!.. — сказал Палицын, и все оставили монастырь. Часто Вадим оборачивался! на полусветлом небосклоне рисовались зубчатые стены, башни и церковь, плоскими черными городами, без всяких оттенков; но в этом зрелище было что<-то> величественное, заставляющее душу погружаться в себя и думать о вечности, и думать о величии земном и небесном, и тогда рождаются мысли мрачные и чудесные, как одинокий монастырь, неподвижный памятник слабости некоторых людей, которые не понимали, что где скрывается добродетель, там может скрываться и преступление.

ГЛАВА III

Поздно, поздно вечером приехал Борис Петрович домой; собаки встретили его громким лаем,

и только по светящимся окнам можно было узнать строение; ветер шумя качал ветелки, насаженные вокруг господского двора, и когда топот конский раздался, то слуги вышли с фонарями навстречу, улыбаясь и внутренне проклиная барина, для которого они покинули свои теплые постели, а может быть, что-нибудь получше. Палицын взошел в дом; — в зале было темно; оконницы дрожали от ветра и сильного дождя; в гостиной стояла свеча; эта комната была совершенно отделана во вкусе 18-го века: разноцветные обои, три круглые стола; перед каждым небольшое канапе; глухая стена, находящаяся между двумя высокими печьюми, на которых стояли безобразные статуйки, была вся измалевана; на ней изображался завядшими красками торжественный въезд Петра I в Москву после Полтавы: эту картину можно бы назвать рисованной программой.

Перед ореховым гладким столом сидела толстая женщина, зевая по сторонам, добрая женщина!.. жить, зевать, бранить служанок, приказчика, старосту, мужа, когда он в духе... какая завидная жизнь! и всё это продолжается сорок лет, и продолжится еще столько же... и будут оплакивать ее кончину... и будут помнить ее, и хвалить ее ангельский нрав, и жалеть... чудо что за жизнь! особенно как сравнишь с нею наши бури, поглощающие целые годы, и что еще ужаснее — обрывающие чувства человека, как листья с дерева, одно за другим.

На скамейке, у ног <Натальи> Сергевны (так я назову жену Палицына), сидела молодая девушка, ее воспитанница. — Это был ангел, изгнанный из рая за то, что слишком сожалел о человечестве. —

Сальная свеча, горящая на столе, озаряла ее невинный открытый лоб и одну щеку, на которой, пристально вглядываясь, можно было бы различить мелкий золотой пушок; остальная часть лица ее была покрыта густой тенью; и только когда она поднимала большие глаза свои, то иногда две искры света отделялись в темноте; это лицо было одно из тех, какие мы видим во сне редко, а наяву почти никогда. — Ее грудь тихо колебалась, порой она нагибала голову, всматриваясь в свою работу, и длинные космы волос вырывались из-за ушей и падали на глаза; тогда выходила на свет белая рука с продолговатыми пальцами; одна такая рука могла бы быть целою картиной!

Борис Петрович взошел; обе встали.

— Я привез нового холопа, — сказал он. — Клад! — нищий, который захотел работать! — он не должен быть слишком боек — это видно по лицу — но зато будет послушен!.. — вот ты увидишь сама — эй! — Вадимка! — живо.

Взошел безобразный нищий. Госпожа осмотрела его без внимания, как краденый товар... «Какой урод!» — воскликнула она. Но Вадим не слышал — его душа была в глазах.

Долго супруг разговаривал с супругой о жатве, льне и хозяйственных делах; и вовсе забыли о нищем; он целый битый час простоял в дверях; куда смотрел он? что думал? — он открыл новую струну в душе своей и новую цель своему существованию. Целый час он простоял; никто не заметил; <Наталья> Сергевна ушла в свою комнату, и тогда Палицын подошел к ее воспитаннице.

— Как тебе нравится мой новый холоп?

— Урод! — отвечала Ольга, и вдруг ей послышалось что-то похожее на скрежет зубов. — Охота приводить таких пугал, — продолжала она, — нам бедным пленным птичкам и без них худо!..

— Оттого худо, что ты не хочешь согласиться, — возразил Борис Петрович и намеревался ее обнять.

Ольга покраснела и оттолкнула его руку; это движение было слишком благородно для женщины обыкновенной.

— Плутовка! если бы ты знала, как ты прекрасна: разве у стариков нет сердца, разве нет в нем уголка, где кровь кипит и клокочет? — а было бы тебе хорошо! — если бы — выслушай... у меня есть золотые серьги с крупным жемчугом, персидские платки, у меня есть деньги, деньги, деньги...

— У вас нет стыда! — отвечала Ольга; Палицын посмотрел на нее — и вспыхнул; — но услышав шорох в другой комнате, погрозившись ушел.

— Боже!.. — это восклицание невольно вырвалось из ее груди; это была молитва и упрек.

Безобразный нищий всё еще стоял в дверях, сложа руки, нем и недвижим — на его ресницах блеснула слеза: может быть первая слеза — и слеза отчаяния!.. Такие слезы истощают душу, отнимают несколько лет жизни, могут потопить в одну минуту миллион сладких надежд! они для одного человека — что был Наполеон для вселенной: в десять лет он подвинул нас целым веком вперед.

— Знаешь ли ты своих родителей, Ольга? — сказал Вадим.

— Станный вопрос! — отвечала она.

— Знаешь ли ты их, — повторил он таким голосом, который заставил ее содрогнуться; она посмо-

трела ему пристально в глаза, как будто припоминая нечто давно, давно прошедшее.

— Я сирота; — мой отец меня оставил, когда я была ребенком, — и отправился бог знает куда — верно очень далеко, потому что он не возвращался, — чело Вадима омрачилось, и горькая язвительная улыбка придала чертам его, слабо озаренным догорающей свечой, что-то демонское.

— Хочешь ли знать куда?

— Хочу!.. — и влажные глаза ее ярко заблестали.

— Подумай, — я для тебя человек чужой — может быть, я шучу, насмехаюсь!.. подумай: есть тайны, на дне которых яд, тайны, которые неразрывно связывают две участи; есть люди, заражающие своим дыханием счастье других; всё, что их любит и ненавидит, обречено гибели... берегись того и другого — узнав мою тайну, ты отдашь судьбу свою в руки опасного человека: он не сумеет лелеять цветок этот: он изомнет его...

— Хочу знать непременно... — воскликнула неопытная девушка.

Она посмотрела вокруг — нищего уже не было в комнате.

ГЛАВА IV

Прошло двое суток — Вадим еще не объявлял своей тайны... Ужели он только хотел подстрекнуть женское любопытство? если так, то он вполне достиг своей цели. Под разными предложениями, пренебрегая гнев госпожи своей, Ольга отлучалась от скучной работы и старалась встретить где-нибудь в отдаленной пустой комнате Вадима; и странно! она почти

всегда находила его там, где думала найти, — и тогда просьбы, ласки, все хитрости были употребляемы, чтобы выманить желанную тайну, — однако он был непреклонен; умел отвести разговор на другой предмет, занимал ее разными рассказами — но тайны не было; она дивилась его уму, его бурному нраву, начинала проникать в его сумрачную душу и заметила, что этот человек рожден не для рабства: — и это заставило ее иметь к нему доверенность; немудрено; — власть разлучает гордые души, а неволя соединяет их.

Однажды она взяла его за руку.

— Не правда ли я очень безобразен! — воскликнул Вадим. Она пустила его руку. — Да, — продолжал он. — Я это знаю сам. — Небо не хотело, чтоб меня кто-нибудь любил на свете, потому что оно создало меня для ненависти; — завтра ты всё узнаешь: — на что мне беречь тебя? — О, если б... не укоряй за долгое молчанье. — Быть может настанет время и ты подумаешь: зачем этот человек не родился немым, слепым и глухим — если он мог родиться кривобоком и горбатым?..

Поведение Вадима с прочими слугами было непонятно, потому что его цели никто не знал; я объясню его, сколько можно, следующим разговором; на крыльце дома сидело двое слуг, один старый, другой лет двадцати; вот слова их:

— Заметь, Федька, что, кто из грязи вышел, тот лезет в золото! — как этот Вадимка загордился — эдакой урод — мне никогда никакого уважения не делает — когда сам приказчик меня всегда отличает — да и к барину как умеет он подольститься: словно щенок! — Экой век стал нехристианской.

— Не скажу, дядя Ипат!.. он всегда со мной ласков — парень лихой; с ним держи ухо востро: тотчас на удочку подцепит — вот, например, вчера...

— Что вчера?

— Я тебе расскажу эту штуку, дядя... слушай... вчера барин разгневался на Олешку Шушерина и приказал ему влепить 25 палок; повели Олешку на конюшню — сам приказчик и стал его бить; 25 раз ударил да и говорит: это за барина — а вот за меня — и занес руку. Вадим всё это время стоял поодаль, в углу: брови его сходились и расходились. — В один миг он подскочил к приказчику и сшиб его на землю одним ударом. На губах его клубилась пена от бешенства, он хотел что-то вымолвить — и не мог.

— Жаль! — возразил старик, — не доживет этот человек до седых волос. — Он жалел от души, как мог, как обыкновенно жалеют старики о юношах, умирающих преждевременно, во цвете жизни, которых смерть забирает вместо их, как буря чаще ломает тонкие высокие деревья и щадит пни столетние.

Зачем Вадим старался приобрести любовь и доверенность молодых слуг? — на это отвечаю: происшествия, мною описываемые, случились за 2 месяца до бунта пугачевского.

Умы предчувствовали переворот и волновались: каждая старинная и новая жестокость господина была записана его рабами в книгу мщения, и только кровь <его> могла смыть эти постыдные летописи. Люди, когда страдают, обыкновенно покорны; но если раз им удалось сбросить ношу свою, то ягненок превращается в тигра: притесненный делается притеснителем и платит сторицею — и тогда горе побежденным!..

Русский народ, этот сторукий исполин, скорее перенесет жестокость и надменность своего повелителя, чем слабость его; он желает быть наказываем, но справедливо, он согласен служить — но хочет гордиться своим рабством, хочет поднимать голову, чтоб смотреть на своего господина, и простит в нем скорее излишество пороков, чем недостаток добродетелей! В 18 столетии дворянство, потеряв уже прежнюю неограниченную власть свою и способы ее поддерживать — не умело переменить поведения: вот одна из тайных причин, породивших пугачевский год!

[ГЛАВА V]

Но обратимся к нашему рассказу.

Дом Бориса Петровича стоял на берегу Суры, на высокой горе, кончающейся к реке обрывом глинистого цвета; кругом двора и вдоль по берегу построены избы, дымные, черные, наклоненные, вытягивающиеся в две линии по краям дороги, как нищие, кланяющиеся прохожим; по ту сторону реки видны в отдалении березовые рощи и еще далее лесистые холмы с чернеющими елями, налево низкий берег, усыпанный кустарником, тянется гладкою покатостью — и далеко, далеко синеют холмы как волны. Вечернее солнце порою играло на тесовой крыше и в стеклах золотыми переливами, раскрашенные резные ставни, колеблемые ветром, стучали и скрипели, качаясь на ржавых петлях. Вокруг старинного дома обходит деревянная резной работы голодарейка, служащая вместо балкона; здесь, сидя за работой, Ольга часто забывала

свое шитье и наблюдала синие странствующие воды и барки с белыми парусами и разноцветными флюгерями. Там люди вольны, счастливы! каждый день видят новый берег — и новые надежды! — Песни крестьян, идущих с сенокоса, отдаленный колокольчик часто развлекали ее внимание — кто едет, купец? барин? почта? — но на что ей!.. не всё ли равно... и всё-таки не худо бы узнать.

Какая занимательная, полная жизнь, не правда ли?

Теперь она попала из одной крайности в другую: теперь, завернувшись в черную бархатную шубейку, обшитую заячьим мехом, она трепеща отворяет дверь на голодарейку. — Чего тебе бояться, неопытная девушка: Борис Петрович уехал в город, его жена в монастырь, слушать поучения монахов и новости и<з> уст богомолков, не менее ею уважаемых.

Кто идет ей навстречу. — Это Вадим. — Она вздрогнула; — она побледнела, потому что настала роковая минута.

— Что с тобою, — сказал он.

— Ничего...

— А! понимаю! — он закусил губы: — ты меня испугалась...

— Зачем мне бояться тебя, — отвечала гордо Ольга.

— Тем лучше! — продолжал он... — это уже много значит — так я тебе не страшен! не отвратителен... о мой создатель! вот великое блаженство! право, мне кажется это первое... — он остановился...

— Послушай, что если душа моя хуже моей наружности? но разве я виноват... я ничего не просил у людей, кроме хлеба — они прибавили к нему презрение и насмешки... я имел небо, землю и себя,